
Домработница
Анна Тихонова
18+

Анна Тихонова
Домработница

https://litres.ru/74811072
SelfPub; 2026

Аннотация

Её мама двенадцать лет вела хозяйство в доме знаменитого профессора, а потом исчезла. Ночью, под дождём, без чемодана, оставив дочери одно сообщение: «Не звони сюда ни в коем случае». Хозяева говорят, что она украла серьги и сбежала. Полиция советует подождать.

Ася ждать не стала. С поддельными рекомендациями студентка-историк устраивается в тот же дом новой домработницей. Здесь сами собой переходят с места на место вещи, часы в прихожей каждую ночь останавливаются на 3:40, а под матрасом лежит мамина шпилька.

Сын профессора, кардиохирург с ледяными глазами, уверен, что воровка — она. Обаятельный помощник, от которого пахнет бергамотом, целует её у метро в первый снег. Старик по вечерам не узнаёт сына, а ночью оставляет ей записку: «Я знаю, чья ты. Молчи».

На обороте знаменитой картины «Домработница» когда-то была надпись. Теперь её там нет. И кто-то в этом доме очень не хочет, чтобы Ася узнала почему.

Содержание

Пролог 4
Глава 1. Объявление 10
Глава 2. Первое утро 20
Глава 3. Сын 29
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Анна Тихонова
Домработница

Пролог

Посёлок Ольховка, Подмосковье. 12 октября 2026 года

В доме Вознесенских скрипела каждая ступенька, и Галина знала их все наизусть.

Третья сверху — как старая дверь. Седьмая — как кошка, на которую наступили. На десятую надо ставить ногу с самого края, у перил, тогда она молчит. Двенадцать лет она ходила по этой лестнице с подносами, с вёдрами, с бельём, с чаем для Льва Аркадьевича и с грелкой для Нины Сергеевны, пока Нина Сергеевна была жива. И ни разу за эти двенадцать лет ей не приходилось спускаться по ней так, как сегодня: в темноте, в шерстяных носках, задержав дыхание, как воровка.

На часах в прихожей было три сорок.

Дом спал. В конце коридора за дверью спальни тяжело дышал Лев Аркадьевич — последние месяцы он спал так, будто тонул, и по утрам не сразу вспоминал, какой сегодня день. Во флигеле за садом не горел свет. За окнами стояли чёрные сосны, и по стёклам сползал мелкий холодный дождь.

Галина толкнула дверь кабинета.

Здесь пахло так же, как пахло полвека: старой бумагой, табаком, который никто не курил уже тридцать лет, и скипидаром. Пахнуть скипидаром здесь было не отчего. Аркадий Петрович Вознесенский умер в девяносто четвёртом, и краски его давно высохли. А пахло. Свежим. Остро. Неделю назад Галина списала этот запах на новое средство для полировки мебели. А потом вспомнила, что никакого нового средства не покупала.

Она включила фонарик на телефоне и прикрыла его ладонью, чтобы свет был розовым и слабым.

Картина висела над письменным столом, как висела всегда. Не очень большая, метр на восемьдесят. Девушка у окна. Ситцевое платье, белый фартук, руки красные от стирки, в руках таз с бельём, а смотрит она не в таз — смотрит прямо на того, кто стоит перед картиной. Строго. И чуть-чуть насмешливо, как будто знает про него что-то такое, чего не знает он сам. За ней, в окне, горит рябина.

Аркадий Вознесенский. «Домработница». 1961.

В учебниках писали, что это лучшая его вещь. В каталогах писали, что модель неизвестна. Галина знала, что модель звали Валентина Рябова. Валентина Рябова рассказала ей об этом сама — один раз в жизни, в больнице, за два дня до смерти, когда уже не стыдно и не страшно.

— На обороте он мне написал, Галю. Углём, на холсте. «Вале. Прости». И ветку рябины нарисовал. Потому что я Рябова. Он смеялся, что у меня фамилия как натюрморт…

Галина подставила стул, встала на него — колени неприятно хрустнули, шестьдесят четыре года не шутка, — и осторожно, обеими руками, отвела нижний край рамы от стены.

И посветила туда, за холст.

Оборот был чистый. Светлый, свежий, без единого пятнышка времени. Ни угля, ни рябины, ни «прости». Подрамник белел, как новая доска из строительного магазина. И пахло оттуда скипидаром.

Галина опустила раму так осторожно, будто та могла взорваться.

Постояла. Посмотрела девушке в фартуке в лицо. Лицо было правильное. И руки правильные, и рябина в окне. Только взгляд — теперь, когда она знала, — был другой. Мама на картине знала про зрителя тайну. А эта девушка просто смотрела.

Галина спустилась со стула, села на него, потому что ноги вдруг перестали держать, и трясущимися пальцами набрала сообщение. Она писала медленно, одним пальцем, как всегда, и Ася всегда смеялась над этим.

Асенька это не она. Картина не она. Я все поняла и про таблетки тоже. Не звони сюда ни в коем случае. Я сама приеду завтра. Люблю тебя

Нажала «отправить». Под сообщением высветилась одна серая галочка. Ася спала. Ася всегда спала крепко, с самого детства, разметавшись поперёк кровати, и Галина вдруг так ясно увидела эту разметавшуюся девочку — с пятками из-

под одеяла, с ресницами на полщеки, — что зажмурилась.

И потому не услышала седьмую ступеньку.

Услышала только десятую. Десятая молчала, если ставить ногу у перил. Кто-то поставил ногу у перил. Кто-то, кто тоже знал этот дом наизусть.

И тишина после десятой ступеньки была громче любого скрипа.

Галина выключила фонарик. Сунула телефон в карман фартука — она и ночью встала в фартуке, по привычке, голубом, с карманом-кенгуру, — и выпрямилась.

Дверь кабинета открылась.

— Галина Валентиновна? — сказал голос из темноты. Удивлённый. Заботливый. Знакомый. — Вы чего не спите? Сердце?

Галина двенадцать лет прожила в чужом доме, и двенадцать лет у неё была наготове спокойная улыбка для хозяев. Она улыбнулась и сейчас — в темноту.

— Да вот, — сказала она. — Кошка опять сюда забралась. На бумаги лезет, зараза. Идите спать, я сейчас.

В доме Вознесенских не было кошки.

И оба они это знали.

* * *

Последняя электричка на Москву уходила из Ольховки в ноль сорок. Первая — в пять двенадцать.

В четыре сорок на мокрой платформе не было никого. Горел один фонарь из трёх, и в его жёлтом конусе наискосок

летел дождь. Вокзальчик с кассой стоял заколоченный с прошлой весны. Камера над ним не работала ещё дольше.

Женщина в сером пальто, надетом поверх голубого фартука, дошла до самого края платформы — туда, где останавливается первый вагон. Она шла быстро и несла под мышкой что-то плоское, завёрнутое в полиэтиленовый пакет из «Пятёрочки». Она оглядывалась. Она всё время оглядывалась.

Шаги за спиной она услышала слишком поздно. Дождь скрадывал их, как десятая ступенька.

Она успела обернуться. Успела сказать: «Ты…» Успела даже удивиться — не тому, кто стоял перед ней, а тому, каким спокойным было его лицо.

Потом были мокрый бетон, и дождь в лицо, и один жёлтый фонарь из трёх, который плыл и плыл куда-то вверх, как луна над дачным прудом. И чьи-то руки, которые сняли с неё пальто, обшарили карманы и забрали пакет из «Пятёрочки».

А карман фартука — глубокий, кенгуру, с клапаном на липучке — не нашли.

В пять двенадцать машинист первой электрички увидел на платформе лежащую женщину без пальто и без документов и вызвал скорую.

Телефон в кармане фартука разрядился к полудню. Последние два часа он звонил не переставая, потому что Ася проснулась.

Но в реанимации сергиевопосадской больницы чужие телефоны складывают в пакет с вещами. И пакет с вещами

неизвестной кладут на верхнюю полку, куда никто не смотрит.

Глава 1. Объявление

Три недели спустя

«Требуется помощница по хозяйству с проживанием. Дом в пос. Ольховка (Ярославское напр.). Пожилой мужчина, профессор. Уборка, готовка, контроль приёма лекарств. Без вредных привычек. Рекомендации обязательны. Звонить Станиславу».

Ася перечитала объявление в сорок первый раз — в электричке, у запотевшего окна, за которым тянулись голые берёзы и заборы с надписью «КРУТЫЕ САЙДИНГИ». Она знала его наизусть. Она знала наизусть и другое: что объявление появилось на сайте девятнадцатого октября, через неделю после того, как мама перестала брать трубку. Что за две недели его просмотрели триста двадцать человек. И что звонить надо Станиславу, а не самому профессору.

Рекомендации у неё были. Две. Одну написала тётя Женьки, соседки по общаге, — тётя жила в Рязани, была женщиной с чувством юмора и согласилась за коробку конфет подтвердить по телефону, что Ася два года ухаживала за её парализованной свекровью. Другую Ася написала сама — на бланке несуществующего кадрового агентства, с печатью, которую сделала в фотошопе в три часа ночи, и чувствовала себя при этом так, будто подделывает банкноты.

На факультете ей ставили пятёрки по источниковедению.

Вот и пригодилось: главное, чему учит источниковедение, — как выглядит настоящий документ. А кто знает, как выглядит настоящий, тот знает, как сделать поддельный.

Усталость сидела у неё в горле комом, как непрожёванный хлеб. Три недели она спала по четыре часа. Три недели она звонила на мамин номер и слушала «абонент не может быть…» — и раз за разом открывала последнее сообщение, пришедшее в три сорок ночи двенадцатого октября.

Асенька это не она. Картина не она…

Какая картина? Какие таблетки? Почему «не звони сюда»?

В субботу мама не приехала. В понедельник Ася позвонила на домашний телефон Вознесенских — нарушив мамин запрет, которому было двенадцать лет, — и вежливый мужской голос сообщил, что Галина Валентиновна больше у них не работает. Собрала вещи и уехала. Куда — не сказала. А вы, собственно, кто?

Ася тогда повесила трубку. Сама не знала почему. Наверное, потому, что в мамином сообщении было «не звони сюда ни в коем случае», и мама, которая ставила запятые раз в год, поставила её там мысленно, — Ася слышала её интонацию.

Потом была полиция. Усталый лейтенант в Раменках принял заявление, через неделю перезвонил и сказал с плохо скрытым облегчением: участковый в Ольховке опросил работодателей, вашу мать уволили за кражу, извините, она забрала чемодан и уехала, заявление на неё хозяева писать не

стали по доброте душевной, а взрослый человек имеет право уехать и не отвечать на звонки. Особенно когда ему стыдно. Вы подождите, девушка. Объявится.

Мама — и кража.

Мама, которая возвращалась в магазин, если кассир дала сдачи на десять рублей больше. Мама, которая двенадцать лет проработала в одном доме и ни разу не взяла оттуда даже яблока из сада, не спросив. Мама, которая никогда, ни разу в жизни не пропадала больше чем на сутки.

Электричка вздохнула и остановилась. «Ольховка», — сказал динамик голосом человека, которому всё равно.

* * *

Посёлок был из тех, что строили в пятидесятые для академиков, лауреатов и народных артистов: широкие песчаные улицы, сосны выше домов, зелёные деревянные заборы, за которыми стояли дачи с мезонинами, верандами и остеклёнными террасами. Часть дач давно скупили и снесли, и на их месте выросли серые кубы с панорамным остеклением. Но часть стояла как стояла — потемневшая, состарившаяся вместе с хозяевами, с мхом на крышах.

Дом Вознесенских был в конце Сосновой улицы, у самого леса.

Ася ни разу в нём не была. Но узнала его сразу.

Мама рассказывала про него так, как рассказывают про старого сварливого родственника, с которым трудно, но без которого уже нельзя. Два этажа, тёмно-зелёный, с белыми

наличниками. Стеклянная веранда, в которой зимой невозможно сидеть, а летом — невозможно уйти. Башенка-мастерская с окном на север, чтобы свет был ровный. Флигель за яблонями. И рябина у калитки — старая, кривая, в красных гроздьях, которые сейчас, в начале ноября, потемнели и сморщились от первых заморозков.

Ася остановилась у рябины. Дотронулась до ствола. Кора была холодная и шершавая, как старческая рука.

«У вас там рябина, — сказала она как-то маме лет в десять. — Как наша фамилия». — «У нас разные фамилии, — сказала мама. — Ты по папе Лаврова». — «Ну и что. А внутри я Рябова».

Мама тогда отвернулась к плите и долго что-то помешивала, хотя на плите ничего не стояло.

Ася сглотнула, опустила руку и нажала на кнопку звонка.

* * *

Дверь открыл молодой мужчина.

Ася ожидала увидеть кого-то сухого, в чёрном костюме, с лицом администратора санатория. Тот, кто открыл дверь, был в сером свитере с закатанными рукавами, в очках в тонкой оправе, светловолосый, чуть взъерошенный. В одной руке он держал кружку с чаем, в другой — старую картонную папку с тесёмками. И улыбался — сразу, искренне и чуть виновато, как улыбаются очень воспитанные люди, которых отвлекли от дела.

— Анастасия? Вы рано. Это прекрасно, честное слово, я

уже отвык от людей, которые приходят вовремя. Стас. Станислав, если официально, но лучше не надо. Заходите, там холодно. Туфли можно не снимать, пол всё равно… — он запнулся, — ну, вот как раз для этого нам и нужны вы.

Он отступил, пропуская её. От него пахло чаем с бергамотом и старыми книгами. Приятно. Ася поймала себя на мысли, что он ей нравится, и разозлилась на себя. Это был тот самый вежливый мужской голос. «Собрала вещи и уехала».

Прихожая была тёмная, с лосиными рогами вместо вешалки и огромными старинными часами в корпусе из ореха. Часы стояли. Стрелки показывали три сорок.

Ася посмотрела на них и перестала дышать.

— А, это, — Стас проследил за её взглядом. — Не обращайте внимания. Они всё время останавливаются. Я завожу — они снова стоят. Лев Аркадьевич говорит, что их останавливает домовой. — Он понизил голос. — И я сейчас скажу вам сразу, чтобы потом не было сюрпризом. Он не шутит. У Льва Аркадьевича в августе был небольшой инсульт. Не страшный. Но с тех пор иногда… — он покрутил ладонью в воздухе, — иногда он живёт немножко в другом году. Или в другом доме. Утром обычно всё хорошо. А вечером… поразному. Вас это не пугает?

— Нет, — сказала Ася. — Я ухаживала за пожилым человеком. Там было тяжелее.

Рязанская свекровь Женькиной тёти, царствие ей небесное, умерла в девяносто восьмом году.

— Я читал ваши рекомендации, — кивнул Стас. — Очень тёплые. А вы ещё и студентка? Истфак? — Он оживился. — Так вы же наша! Я сам историк искусства. Аспирант у Льва Аркадьевича, бывший, теперь вот… в общем, я составляю полный каталог работ его отца. Аркадия Вознесенского. Слышали?

— «Домработница», — сказала Ася. И тут же пожалела.

Стас рассмеялся — легко, с удовольствием.

— Ну вот. Все знают только «Домработницу». Ничего, поживёте тут — узнаете остальное. У нас наверху и во флигеле сорок с лишним работ. А сама «Домработница» висит в кабинете. Только туда пока заходить не надо. Лев Аркадьевич там спит днём, на диване. Пойдёмте, я вас познакомлю. Только… — он помедлил. — Если он скажет что-нибудь странное — просто соглашайтесь. С ним так проще.

* * *

Профессор Вознесенский не спал. Он сидел в гостиной у камина, в глубоком кожаном кресле, накрытый клетчатым пледом, и смотрел на огонь. Камин не горел.

Он был крупный — даже сейчас, сидя, опустив плечи, он занимал собой всё кресло и немного комнаты. Густые белые волосы, крупный нос, тяжёлые веки. Руки на пледе лежали, как два старых весла, — большие, в тёмных пятнах. Возле кресла стояла трость с набалдашником в виде собачьей головы.

— Лев Аркадьевич, — мягко сказал Стас. — Это Анаста-

сия. По объявлению. Я вам рассказывал.

Профессор не повернул головы.

— Не рассказывал, — сказал он. Голос у него был низкий, чуть хриплый и неожиданно ясный. — Но это неважно. Стасик, принесите мне из кабинета очки. Они на столе. Или на подоконнике. Или где-нибудь ещё, они в последнее время путешествуют.

Стас бросил на Асю быстрый взгляд — *видите?* — и вышел.

Профессор подождал, пока затихнут шаги в коридоре. Потом медленно повернул голову и посмотрел на неё.

Глаза у него были светло-серые, водянистые, стариковские. И очень внимательные. Он смотрел на неё долго. На лицо. На волосы — тёмно-рыжие, в тугой косе. На руки, которыми она сжимала ремень сумки.

— Вы чай как завариваете? — спросил он.

Ася моргнула.

— Чайник обдать кипятком. Три ложки на пол-литра. Воду не до кипения, а как только «белый ключ». И… — она запнулась. Она не собиралась этого говорить. Слова вышли сами, маминым голосом. — И сушёную рябину. Десять ягод. Для горчинки.

В гостиной стало тихо. Профессор смотрел на неё, и что-то проходило по его тяжёлому лицу — медленно, как тень от облака по полю.

— Десять ягод, — повторил он. — Интересно. Я знал в

своей жизни только одного человека, который так заваривал чай.

Ася почувствовала, как по спине стекает холодная капля.

— Это… бабушкин рецепт, — сказала она. — Рязанский.

— Конечно, — сказал профессор. И внезапно улыбнулся — странной улыбкой, одной половиной рта, потому что вторая половина после инсульта слушалась его плохо. — Рязанский. Вы приняты, Анастасия. Если вы не передумаете. В этом доме домработницы почему-то часто передумывают.

В дверях появился Стас — с пустыми руками и виноватой улыбкой.

— Нет там очков, Лев Аркадьевич. Нигде нет.

— Знаю, — сказал профессор, снова отворачиваясь к негорящему камину. — Они у меня в кармане.

* * *

Комната для прислуги — Стас сказал «для помощницы», но понятно было, как её называли в пятидесятые, — была за кухней, с отдельным выходом в сад. Узкая, как пенал. Кровать с железной спинкой. Старый шкаф с зеркалом. Стол у окна, и в окне — та самая рябина, только с другой стороны.

— Не хоромы, — виновато сказал Стас. — Но здесь тепло, печка общая с кухней. Вы только… слушайте, я вам должен сказать. Чтобы вы от соседей не услышали в искажённом виде. До вас здесь жила женщина. Галина. Двенадцать лет работала, семьёй считали. И вот… — Он вздохнул и потёр переносицу под очками. — После инсульта начали про-

падать вещи. Сначала мелочи. Потом серьги покойной Нины Сергеевны. Потом деньги из секретера. Я с ней поговорил. Очень мягко. Она расплакалась — а утром её уже не было. И чемодана не было. Лев Аркадьевич запретил заявлять. Сказал: «Бог с ними, с серьгами». — Стас развёл руками. — Вот. Теперь вы знаете. И понимаете, почему мы так дотошно с рекомендациями. Не обижайтесь.

— Не обижаюсь, — сказала Ася.

У неё самой голос был спокойный, чуть усталый. Она даже улыбнулась. А руки в карманах куртки сжались так, что ногти вошли в ладони.

Стас ушёл во флигель, сказав, что ужин в восемь, таблетки — в десять, таблетница на кухне, доктор Гольдин всё расписал по дням, и если что — звоните мне в любое время, слышите, в любое.

Ася закрыла за ним дверь. Поставила сумку на пол. Послушала, как скрипит песок на дорожке под его шагами и хлопает дверь флигеля.

Потом опустилась на колени и заглянула под кровать.

Там было чисто. Слишком чисто для комнаты, из которой три недели назад в спешке уехала женщина с чемоданом. Ася открыла шкаф. Пусто. Вешалки. Одинокий нафталиновый шарик в углу. Стол. Пусто. Подоконник. Пусто.

Она подняла подушку.

Под подушкой, на матрасе, в тонкой щели между матрасом и железной спинкой кровати, куда не достаёт ни один

пылесос, тёмным пятнышком лежала маленькая вещь. Ася вытащила её двумя пальцами.

Шпилька. Металлическая, с крошечной стеклянной вишенкой на конце. Ася купила такие в пятом классе в переходе у метро, на первые самостоятельные деньги, десять штук за сто рублей, и подарила на Восьмое марта. Мама сказала, что она старая для вишенок, и потом двенадцать лет закалывала ими волосы. Осталось три. Потом две. Потом одна.

Ася сидела на краю чужой кровати со шпилькой в кулаке и не плакала. Она запретила себе плакать в этом доме. Плакать она будет потом. Дома. Вместе с мамой. Когда мама будет сидеть рядом и говорить своё «ну-ну, не реви, рябинка».

Её звали Анастасия Сергеевна Лаврова, и это была правда. Ей было двадцать два года, она училась на четвёртом курсе истфака, и это тоже была правда.

А ещё она была дочерью той самой домработницы, которая украла серьги и уехала с чемоданом.

И она приехала сюда не за зарплатой.

Она приехала узнать, кто в этом доме врёт.

Глава 2. Первое утро

В шесть утра Ася уже стояла на кухне и смотрела на чужие кастрюли, как смотрят на чужих детей.

Кухня была мамина. Это чувствовалось сразу — не глазами, а руками. Прихватки висели слева от плиты, потому что мама была левшой и на всех своих кухнях вешала их слева. Соль стояла в стеклянной банке из-под кофе с вытертой надписью «Нескафе». Крупы — в жестяных коробках из-под печенья, и на каждой кусочек пластыря с надписью шариковой ручкой: «ГРЕЧКА», «ОВСЯНКА», «РИС КРУГЛЫЙ». Дома в Сергиевом Посаде у них были точно такие же коробки с точно таким же пластырем.

Ася провела пальцем по буквам «ГРЕЧКА» и быстро отдёрнула руку.

Нельзя. В этом доме нельзя.

Она сварила овсянку на молоке пополам с водой — в таблетнице доктора Гольдина лежала бумажка с диетой, и почерк у доктора был такой, будто он старался, чтобы его никто никогда не прочитал. Сделала два бутерброда с сыром. Заварила чай. Десять ягод сушёной рябины она нашла без труда: в левом верхнем шкафчике, в льняном мешочке с вышитой красной игрушечной коровой.

Корову вышивала Ася. Во втором классе. На уроке труда.

Она долго стояла с этим мешочком в руках. Потом высы-

пала десять ягод в чайник и положила мешочек себе в карман.

* * *

Лев Аркадьевич спустился сам — без помощи, на трости, медленно, держась за перила, ступенька за ступенькой, и Ася, слушая из кухни, насчитала тринадцать скрипов из четырнадцати. Одна ступенька молчала.

Он был в сером твидовом пиджаке поверх пижамы и в тапочках с задниками. Выбрит. Пахло от него старомодным одеколоном — так, наверное, пахли профессора в те времена, когда профессора ещё что-то значили.

Он сел за кухонный стол, а не в столовой, и Ася не стала спрашивать почему.

Он попробовал кашу. Попробовал чай. Закрыл глаза и посидел так некоторое время.

— Вы рано встаёте, — сказал он, не открывая глаз.

— Привычка.

— У вас есть привычка вставать в пять тридцать и стоять посреди кухни, ничего не делая, минут двадцать? — Он открыл глаза. — Я плохо сплю. И у меня спальня над кухней. И очень тонкие полы.

Ася почувствовала, что краснеет.

— Я… изучала. Где что лежит.

— Разумеется, — сказал он. И вдруг спросил совсем другим, деловым тоном, как спрашивают на экзамене: — Анастасия, а какой сегодня день?

— Вторник. Третье ноября.

— Так. А год?

— Две тысячи двадцать шестой.

— Хорошо. Запишите мне, пожалуйста, на бумажку. И положите вот сюда, под сахарницу. — Он постучал пальцем по столу. — Вечером я буду вас спрашивать, и я хочу, чтобы вы мне не отвечали. Пусть отвечает бумажка.

Ася написала. Положила под сахарницу.

— Почему вечером? — спросила она осторожно.

Профессор долго помешивал кашу.

— Потому что утром я человек, — сказал он. — А вечером — старик. Это началось в августе. Доктор Гольдин говорит, что это называется «синдром заходящего солнца». Красиво, правда? Как название для чеховской пьесы. — Он помолчал. — А ещё у меня путешествуют вещи. Вам Стасик говорил?

— Говорил.

— Ну вот. Не пугайтесь, если найдёте мои тапочки в холодильнике. На прошлой неделе там были мои очки. Мы смеялись. Стасик смеялся. А я… — Он отложил ложку. — А я не помню, Анастасия, как я их туда положил. А я всю жизнь помнил даты всех царских манифестов с Петра Великого. Вы понимаете? Я историк. Историк — это человек, у которого ничего нет, кроме памяти.

Ася не знала, что сказать. Она подлила ему чаю.

Профессор посмотрел на неё поверх чашки — и вот тут ей

показалось, что в светло-серых водянистых глазах на мгновение мелькнуло что-то очень твёрдое. Как стальной каркас в старом кресле, если проткнуть обивку.

— А чай вернулся, — сказал он тихо. — Уже хорошо.

* * *

Первую вещь Ася нашла в одиннадцать.

Она вытирала пыль в гостиной — на каминной полке, на рамах, на бронзовом пареньке с вёслами, — и на секунду остановилась у фотографии в серебряной рамке. На фотографии была женщина лет шестидесяти — стриженая, седая, с умным смеющимся лицом, в синем шарфе. Нина Сергеевна. Мама рассказывала про неё. Про то, как она учила маму печь французский пирог с луком. Про то, как она умирала — долго, спокойно, просто и с достоинством, и как за неделю до смерти взяла маму за руку и сказала: «Галя, ты его не бросай. Он без меня рассыплется».

Ася протёрла стекло. Поставила рамку. Пошла дальше — к книжным полкам.

А когда через полчаса вернулась с ведром, чтобы протереть пол, — фотография стояла лицом к стене.

Ася поставила ведро.

В гостиной никого не было. Профессор спал наверху — она слышала его тяжёлое дыхание сквозь потолок, потолок и вправду был тонкий. Стас с девяти сидел во флигеле, и в его окне горела настольная лампа. На лестнице ни одна ступенька не скрипнула.

Ася медленно дошла до камина и повернула рамку обратно.

Нина Сергеевна улыбалась ей из-под стекла так, словно знала что-то смешное.

«Домовой», — сказала себе Ася. И сама не поверила себе ни на секунду. В домовых она перестала верить лет в семь. А вот в людей, которые знают, какая ступенька молчит, — с недавнего времени верила очень.

Вечером она завела тетрадь. Обычную, в клетку, с котиком на обложке, купленную в поселковом магазине за сорок рублей. И записала на первой странице, как учили на семинарах по полевой археологии:

3.11. 11:00–11:30. Гостиная. Фото Н. С. повёрнуто к стене. Профессор спит наверху (слышно). Стас во флигеле (свет). Лестница — тихо. Дверь в сад — ?

Подумала. И дописала:

Кто ещё имеет ключи?

* * *

В десять вечера Ася дала профессору таблетки — три штуки из вечернего отделения таблетницы с надписью «ВТ ВЕЧ»: белую круглую, жёлтую продолговатую и маленькую розовую. Он проглотил их послушно, как ребёнок, запил водой, и Ася помогла ему подняться в спальню.

У двери он остановился и долго смотрел на неё.

— Галя, — сказал он. — Ты же сказала, что уехала.

Ася перестала дышать.

— Я Анастасия, Лев Аркадьевич. Ася. Новая помощница.

Он моргнул. В глазах был туман — настоящий, вязкий, совсем не похожий на утреннюю сталь. Словно за день кто-то пришёл и завесил в нём все окна.

— Да, — сказал он. — Да. Извините. Какой сегодня…

— Под сахарницей, — сказала Ася.

Он улыбнулся половиной рта. И закрыл за собой дверь.

Ася спустилась вниз на ватных ногах, взяла таблетницу и долго смотрела на пластиковое отделение «СР ВЕЧ». Белая круглая. Жёлтая продолговатая. Розовая маленькая.

Я всё поняла и про таблетки тоже.

Она сфотографировала таблетки с двух сторон. На розовой не было ни букв, ни цифр — гладкая, как конфетка.

И в этот момент прозвенел звонок.

* * *

Мужчина на крыльце был мокрый, высокий и злой.

Злость Ася увидела прежде всего остального — прежде чёрных мокрых волос, прилипших ко лбу, прежде дорогого тёмного пальто, трёхдневной щетины и дорожной сумки через плечо. Злость была в том, как он стоял: как человек, который восемь часов ехал в дождь, чтобы с кем-то поссориться, и теперь не знает, с кем именно.

Он осмотрел её — быстро, сверху вниз. Коса. Фартук. Таблетница в руке.

— Ещё одна, — сказал он. Не ей. Себе. Устало и неприязненно, как говорят «ещё один спам».

— Добрый вечер, — сказала Ася. — Вы к кому?

Он посмотрел на неё так, что она поняла: спрашивать не стоило.

— Домой, — сказал он и прошёл мимо неё в прихожую, не снимая ботинок. На полу, который она днём вымыла, остались мокрые следы. Он остановился у часов, посмотрел на стрелки. Три сорок. Что-то дёрнулось у него на скуле. — Где отец?

— Спит. Я только что дала ему таблетки.

Он обернулся. Взгляд упал на таблетницу в её руке, потом на телефон в другой — на экране всё ещё светилась фотография розовой таблетки крупным планом.

И Ася с ужасом поняла, как это выглядит.

— Интересно, — сказал он очень тихо. — И зачем домработница фотографирует лекарства моего отца?

— Я… — Ася сглотнула. — Чтобы не перепутать. Я новенькая.

— Новенькая, — повторил он. Подошёл ближе. Он был выше неё на голову, и от него пахло дождём, бензином и чем-то медицинским, спиртовым, как от людей, которые полжизни моют руки. — Знаете, сколько вас было, новеньких, за последние три недели? Две. Одна продержалась два дня и сбежала, потому что «в доме ходят». Другая — неделю. У неё в сумке нашли мамину серебряную ложку. А до них была женщина, которая двенадцать лет пила с моим отцом чай на кухне, — и та уехала в ночь с маминими серьгами. Так что

да, вы новенькая. И вы стоите в моём доме с лекарствами моего отца в одной руке и с телефоном в другой.

Ася смотрела на него и чувствовала, как внутри поднимается что-то горячее и опасное.

И та уехала в ночь с маминьми серьгами.

Он сказал это так презрительно. Про человека, который двенадцать лет носил его отцу чай с рябиной. Который сидел ночами с его умирающей матерью, пока он — где он был тогда? Мама никогда не говорила про сына Вознесенских плохо, но и хорошо тоже не говорила. Говорила: «Даниил в Питере. Даниил оперирует». Так, будто это исчерпывающая характеристика человека.

Ася медленно положила таблетницу на тумбочку.

— Даниил Львович, да? — сказала она. Голос её не дрогнул. Она сама удивилась. — Ваш отец спит. Ужин на плите, если вы голодны. Пол, который вы сейчас затоптали, я перемою утром. А если вы хотите меня уволить — увольняйте. Только сначала спросите у отца, почему его покойная жена сегодня стояла лицом к стене.

Он замер.

— Что?

— Спокойной ночи, — сказала Ася и ушла к себе за кухню, надеясь, что он не слышит, как у неё стучат зубы.

Закрыв дверь, она села на кровать и прижала ладони к щекам. Щёки горели.

Из-за стены, с кухни, донеслось, как кто-то открыл хо-

лодильник. Постоял. Закрыл. Открыл крышку кастрюли на плите. Долго было тихо.

Потом звякнула ложка о тарелку.

А ещё потом Ася услышала, как он сказал в телефон, не стараясь понижать голос:

— Стас? Это я. Нет, уже в Ольховке. Да. Слушай, дай мне телефон этого агентства, откуда новая. Хочу завтра с ними поговорить.

Ася сидела в темноте и слушала, как остановившиеся часы в прихожей молчали про три сорок.

Агентства, откуда новая, не существовало в природе. У него были только бланк, печать из фотошопа и телефонный номер. Номер был Женькин.

Глава 3. Сын

Женька перезвонила в половине девятого утра, и голос у неё был такой, будто она только что сдала госэкзамен и не уверена, на что.

— Ась, — зашептала она. — Он звонил. В семь сорок. Я ещё спала, ты представляешь? И я спросонья сказала: «Алло». Не «Агентство "Домашний очаг", доброе утро», а просто «алло», с таким, знаешь, хрипом…

— И?

— И потом я сказала «агентство». И всё сделала, как ты писала. Что ты у нас два года, что ты лучшая, что ты золото. Он слушал и молчал. А потом спросил, какой у нас юридический адрес. Ась, я сказала адрес нашей общаги.

Ася закрыла глаза.

— Он сказал «спасибо» и положил трубку, — уныло закончила Женька. — Очень вежливо. Ась, у него голос как у врача, который тебе сейчас скажет диагноз. Уезжай оттуда.

— Не могу.

— Ася.

— Жень, — сказала Ася. — Здесь её шпилька под матрасом. Здесь моя корова на мешочке. Здесь часы остановились на три сорок — во сколько она мне написала. Я не могу уехать.

Женька помолчала.

— Тогда хотя бы пиши мне каждые четыре часа, — сказала она. — И если ты не напишешь — я еду туда с нарядом полиции, с ОМОНом и с тётей из Рязани. Тётя страшнее ОМОНа.

* * *

За завтраком Даниил сидел напротив отца и смотрел на него так, как Ася смотрела бы на рукопись с подчистками: не слушая, что там написано, а ища, что исправлено.

При дневном свете он оказался моложе, чем показался ночью. Тридцать пять, не больше. Усталый той давней, накопленной усталостью, какую видишь у врачей в тамбуре реанимации. Свитер с горлом. Руки — Ася заметила руки, нельзя было не заметить: длинные пальцы, коротко остриженные ногти, кожа сухая и чуть потрескавшаяся на костяшках, как у людей, которые десять раз в день моют руки по пять минут. Он держал чашку так, будто в ней было что-то хрупкое и дорогое.

Хирург. Кардиохирург, если верить маминому «Даниил оперирует». В самой большой кардиологической клинике Петербурга.

— Папа, — сказал он, — какое сегодня число?

Лев Аркадьевич не стал смотреть под сахарницу.

— Четвёртое ноября, среда. День народного единства. Который, строго говоря, празднуют не в тот день: Китай-город взяли двадцать второго октября по старому стилю, а в семнадцатом веке это было первое ноября, а не четвёртое. Трина-

дцать дней разницы набежало только к двадцатому веку. Но кого это интересует. Тебе в декабре будет тридцать пять, ты родился в декабре девяносто первого, в неделю, когда распался Союз, и мама сказала, что ты первый гражданин новой страны в нашей семье. Первый зуб у тебя вылез в мае. Дальше? — Он спокойно намазал масло на хлеб. — И не смотри на меня так, Даня. Утром я человек. Спроси меня вечером.

Даниил не улыбнулся.

— Я спрошу. И я хочу знать, кто тебе назначил эту схему. Там три препарата, которые не назначают вместе после лакунарного инсульта человеку твоего возраста, и один, которого я вообще не могу опознать.

Ася перестала резать сыр.

— Марк Ефимович, — сказал профессор. — Больше некому.

— Гольдину семьдесят лет, папа, и он последний раз читал медицинский журнал, когда медицинские журналы ещё печатали на бумаге. Уважаемое ископаемое. Я заберу таблетки с собой и покажу неврологу — не обсуждается.

— Бери, — вдруг сказал отец. И посмотрел на сына странно, как смотрят на человека, который внезапно сказал то же самое, что ты не решился сказать. — Бери, Даня. Обязательно бери.

Но тут в кухню вошёл Стас — свежий, выбритый, с резким запахом мороза на свитере, — и обнял Даниила за плечи, и заговорил о том, как держится настроение у Льва Ар-

кадьевича и что вчера на таблетках был очень спокойный вечер, а каталог почти готов — ещё две дюжины работ на мансарде, и можно в печать… И про таблетки все как-то забыли.

Ася не забыла. Она записала в тетрадку с котиком: *Д. хочет проверить таблетки. Проф. — «обязательно». Стас вошёл — тема закрылась. Случайность?*

И поставила три вопросительных знака, а потом зачеркнула два. Потому что Стас сегодня утром принёс ей из поселковой пекарни тёплый рогалик с маком — так, просто так, «вы же не завтракали, я видел», — и Ася съела рогалик стоя у плиты и чуть не заплакала, потому что за три недели это была первая добрая вещь, которую ей кто-то сделал.

* * *

Часы пропали в четыре.

Карманные часы в золотом корпусе, с крышкой и цепочкой. Их сделали в Швейцарии в тысяча девятьсот десятом году, потом они пережили две войны, арест прадеда, эвакуацию и девяностые. А в ноябре две тысячи двадцать шестого не пережили послеобеденного чая в гостиной.

— Они лежали здесь, — сказал Даниил, стоя у секретера. Голос у него был очень спокойный. Слишком. — Я сам положил их сюда в час дня, после того как завёл. Папа просил. Он их заводит по средам с девяносто четвёртого года, с тех пор как умер дед. Ритуал.

Он посмотрел на Асю.

Ася стояла в дверях с полотенцем для посуды на плече.

— Я с часу до трёх была на кухне, — сказала она. — Готовила обед. Вы же сами…

— В три я уехал в аптеку. В три пятнадцать папа уснул наверху. Стас всё время сидел во флигеле на видеосвязи с издательством, я слышал. В доме были вы. Одна.

— Была. И не брала.

— Разумеется, — сказал он. И Ася вдруг услышала в этом «разумеется» совсем другую интонацию, чем утром у его отца. Отец играл. Сын — нет.

Искали втроём. Стас прибежал из флигеля с наушниками на шее, всплеснул руками, сказал: «Дань, только без паники, ты же знаешь, что тут творится, вещи гуляют, может, Лев Аркадьевич сам…» — и лазил под диван, и отодвигал кресла, и даже заглянул в холодильник, прикрикнув из кухни с невесёлым смешком: «Тут в прошлый раз очки были!»

Ася искала и чувствовала, как спину ей сверлит взгляд Даниила. Он не искал. Он смотрел, как ищет она.

— Дань, — вдруг сказал Стас с несчастным лицом. — Слушай, мне дико стыдно это предлагать. Ася, вы только не подумайте, это чисто формально… Давайте мы просто все покажем свои вещи? Все трое. И на этом закроем тему. Я первый. Идёмте во флигель.

И они пошли во флигель, и там были папки, каталоги, ноутбук, стопка фотографий с картинами и пепельница в форме кота, и Стас открывал ящики с нарочитой серьёзностью, будто это игра. Потом Даниил молча показал свою дорож-

ную сумку в своей детской комнате наверху — свитера, зарядка, стетоскоп и толстая книга по сосудистой хирургии на английском.

А потом они пришли в комнату за кухней.

Асина сумка стояла на стуле — большая тканевая сумка с надписью «Исторический факультет. Прошлое имеет будущее». И Ася, когда потянулась её открыть, вдруг поняла — ещё до того, как открыла, одним телом, как понимают дрожь земли перед землетрясением, — что сейчас будет.

Боковой карман был застёгнут. Она его не застёгивала с весны — молния заедала.

Золотые часы лежали там, свернув цепочку кольцом, как спящая змея, и тикали.

В комнате стало так тихо, что это тиканье было слышно всем троим.

— Ася, — очень тихо и очень грустно сказал Стас. — Ну зачем же вы…

— Я не брала.

Её собственный голос прозвучал так жалко, так предсказуемо, что Асе стало стыдно. Так говорит каждый пойманный вор в каждом сериале. И мама тоже так говорила, наверное. В этой самой комнате. Тем же самым людям.

После инсульта начали пропадать вещи. Я с ней поговорил. Очень мягко.

Асю вдруг затошнило. Не от страха. От понимания.

Даниил взял часы. Подержал на ладони. Открыл крышку,

закрыл. На Асю он не смотрел.

— У вас есть время до утра, — сказал он. — Соберите вещи.

И вышел.

* * *

Вечером, после таблеток, Лев Аркадьевич сидел в своём кресле у негорящего камина и смотрел на сына мутными глазами.

— Часы, — сказал он. — Да. Это Галя. Галя их взяла. Она сказала… она что-то сказала про часы…

Даниил посмотрел на Асю через голову отца. И Ася увидела в его взгляде не торжество, не злорадство. Она увидела боль. Ту самую боль, с которой смотрят на родного человека, который тебя не узнаёт.

Ася собрала вещи за десять минут. Вещей было мало. Тетрадь с котиком она положила сверху. Шпильку с вишенкой — в волосы. Мешочек с коровой — в карман. Села на кровать и стала ждать утра, и ненавидеть, и планировать, как она будет стоять у забора Вознесенских и смотреть на окна, потому что уехать отсюда совсем она не может.

В половине первого в дверь постучали.

Даниил стоял на пороге в темноте кухни. В свитере, с кружкой. На неё он не смотрел — смотрел на сумку с надписью «Прошлое имеет будущее».

— Молния на кармане заедает, — сказал он. Без вопроса.

Ася молчала.

— Я проверил. Чтобы её застегнуть, нужны две руки и секунд десять. Вор, который спешит, так не делает. Вор суёт в лифчик. Или в носок. Или в карман куртки, которая на нём. А не в сумку, которая весь день стоит открытой в комнате с незапирающейся дверью. — Он помолчал. — Потому что вору не нужно, чтобы нашли.

Он наконец посмотрел на неё. У него были тёмные глаза — не отцовские серые, а тёмные, почти чёрные, материны, наверное. Усталые и совсем не добрые.

— Я вам не верю, — сказал он. — У вас несуществующее агентство с юридическим адресом в студенческом общежитии, и вы фотографируете таблетки моего отца. Вы врёте мне, Анастасия, я не знаю зачем. Но я также не верю в вора, который старательно застёгивает карманы. И мне не нравится, что за три недели из этого дома ушли три женщины и все три — воровки или трусихи. Слишком аккуратная статистика. Я хирург. Я не верю в аккуратную статистику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.